

С. С.  
ЮШКЕВИЧ

*Избранное*



Семен Юшкевич

**Евреи**

«Public Domain»

1904

## **Юшкевич С. С.**

Евреи / С. С. Юшкевич — «Public Domain», 1904

«— Я говорю, — давно уже шамкал старичок, торговавший свечами вразнос, обращаясь то к Шлойме, то к женщинам, и его поддерживал керосинщик, — нужно набрать воды в рот и молчать. Когда мы сподобимся увидеть землю Израиля, то там разверзнутся наши уста, и мы вспомним обо всем. Разговоры сразу утихли. Что-то огромное, более светлое, чем день, на миг ослепило всех. Улица кипела, — выкрикивали, торговали, клялись, и только здесь, в этой кучке, происходило великолепное и трогательное, вызывавшее на глазах слезы печали. Слово не произносилось. Одно священное имя земли Израиля покрыло все слова и зазвучало дорогим, радостным лозунгом...»

## Содержание

1	5
2	11
3	18
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Семен Соломонович Юшкевич

## Евреи

### 1

Трудовой день кончился. Большой двор, где помещались склады торговцев старого железа, постепенно погружался в тишину... Уходили рабочие, запыленные, усталые, и все, будто сговорились, шли, опустив головы, – приказчики закрывали склады большими ключами, похожими на топоры, а хозяева, наблюдая за ними, торопливо отдавали приказания на следующий день.

Спускалась ночь, безмятежная, тихая. В дворницкой показался свет, и такой же безмятежный, тихий, – он пал во двор.

– Где Нахман? – раздался чей-то голос.

От горки железных тюков отделилось несколько рабочих. Сейчас же к ним вышел хозяин, худенький, жалкий, в заплатанном сюртучке, с рыжей бороденкой, торчавшей клином набок, и, заговорив с ними, стал производить расчет.

– Где Нахман? – поминутно спрашивал он и, с беспокойством оглядываясь, внимательно искал глазами подле складов и горок тюков.

Рабочие стояли в беспорядке, а один из них, худой и крепкий, в грязной рубаше с разорванным воротом, – и по подергиванию плеч видно было, как это мешало ему теперь, хватая себя за лоб, по пальцам проверял получку, не зная, как увериться, что он не ошибся.

Когда счета были, наконец, окончены и рабочие, попросив напрасно на чай, хмурые, двинулись к воротам, – неизвестно откуда появился Нахман и, подавая человеку с рыжей бороденкой толстый ключ, громко и отчетливо сказал:

– Хозяин, дайте мне расчет.

Лицо у него теперь было серьезным и упрямым, и хозяин, пристально посмотрев на него, сейчас же с жаром заговорил... Заложив руки в карманы, Нахман спокойно слушал возражения и, когда нужно было хозяину ответить на вопрос, настойчиво повторял одно:

– Дайте мне расчет, дайте мне расчет.

Они медленно пошли к воротам, а хозяин все говорил о том же на разные лады и оттого, что чувствовал бессилие и ненужность своих слов, начал просить, а Нахман, мотая головой, упрямо твердил:

– Я не могу больше, дайте мне расчет...

Накануне вечером это было окончательно им решено. На квартире, где он жил, его уже ждал сундучок со сложенными вещами, и, едва слушая хозяина, он думал только о том, какое будет наслаждение взвалить сундучок на плечи и убежать из этой улицы, куда глаза глядят.

Три года прошло с тех пор, как он поступил на службу, и эти три года, проведенные здесь, среди торговцев-евреев, были годами большой школы страдания, страдания собственного, чужого, проникновения в жизнь и мучительного роста собственного сознания. Теперь он вступал уже в тот возраст, когда кончается расслойка чувств и начинают действовать определенные симпатии и настроения, – когда всякий поступок, влечение должны быть непременно исполнены, удовлетворены, хотя бы и во вред себе. Постоянно в труде, черном и тяжелом, выросший на воздухе пригородных дворов, он до службы жил жизнью чернорабочего, и оттого, что большую часть дня он проводил в борьбе с неодушевленными, грубыми предметами, для которой он напрягал и силу своих мускулов и упрямство воли, – он вырос здоровым, крепким молодцом, смелым и самостоятельным. Он с трудом понимал страх и на службе с удивлением глядел на окружавший его люд евреев-торговцев, таких испуганных, замученных, – и был

холоден к ним. В его настроении здорового, познавшего тяжесть и крепость предметов, человека, который победил их: землю, камень, железо, кладь, – ему казалось все поборимым, все доступным для сильной спины, сильных рук и несгибающихся ног. И подобно тому, как он не знал и едва догадывался о страхе, молодой и неопытный, он еще меньше боялся жизни и думал о ней так же легко, как о гряде камней, которую нужно перетаскивать с одного места на другое.

В ранней молодости, когда семья еще не требовала его труда и дум о ней, и сама заботилась о том, чтобы приготовить его к жизни вооруженным, – он провел четыре года в еврейском училище и несложную науку прошел легко, с наслаждением и блестяще. Здесь родились его первые мечты о жизни, светлой, радостной, и время проходило торопливо, с лихорадочным требованием от кого-то «дальше, дальше» – словно он спешил перейти какую-то роковую черту. Но он не успел, и в тринадцать лет был уже в новой и тяжелой роли кормильца осиротевшей семьи из матери и маленькой девочки, – и училище, со всем радостным, что оно воспитывало в нем, погибло навсегда. Семье он служил всяческим путем: случайными услугами, был на побегушках, держался возле взрослых чернорабочих, ездил извозчиком, скрывая свой возраст под большим мужицким армяком и твердой, как железо, шляпой, и не было того труда, не существовало такого усилия и унижения для его горячего, преданного сердца, которые он не перенес бы ради заработка. И это время – три года – нарастание свежих сил, когда окружающий мир, как исполинская громада, к которой приближаешься, начинает постепенно раскрываться всеми своими чудесами и обнажается бесконечная пирамидальная лестница, где на широких ступенях разместились люди в разных одеждах, с разной речью, привычками, поведением, – когда кровь, как молодое вино, в своем брожении рисует в особенных, неповторяющихся образах – привлекательных, таинственных – эту развертывающуюся громаду, – это время, три великолепных года, пролетели, как молния, потухая в черном труде. И лишь после того, как и вторые надежды были похоронены крепко и навсегда под теми же плитами, где лежали его отец и брат, а теперь легли мать и маленькая девочка, – он, стоя на кладбище с горсточкой соседей, провожавших дорогие тела, на миг ужаснулся перед жизнью, открывшей свою бездну... Тогда, потому что рядом с ним стояли печальные старики в своих убогих одеждах – живые памятники когда-то хлопотавших и боровшихся с жизнью людей – и плакали не о своем, а о его горе, он познал в них братьев...

– Я уверяю тебя, Нахман, ты не оставишь меня, – говорил молящим голосом хозяин, заглядывая ему в глаза, и Нахман отворачивался от него. – Куда ты пойдешь?

По улицам шли люди, не оборачивались, размахивали руками, и то, что они могли идти куда угодно, вызвало в Нахмане такую острую жажду свободы, что он с увлечением крикнул:

– Я не слушаю вас, хозяин. Вы видите людей. Они идут по своей воле. Они уходят из этой улицы.

Жизнь не останавливалась. Теперь Нахман уже бросил извозничий промысел, отказался от побегушек, унижений. Он преобразился в высокого, широкоплечего юношу, краснощекого, с упрямым лбом. Он уже не спрашивал себя о будущем и беспечно отдавался случаю, любопытный до жадности, что с ним завтра будет. Его тешила мысль гадать ночью о следующем дне, и, расправляя уставшие члены, когда ложился, он радовался своей силе, которая была его защитником. Подобно всем чернорабочим, он по утрам выходил на биржу, нисколько не чувствуя унижения в том, что его покупают, как хорошую, исправную машину, которая весело и споро сделает работу для чужого. Это был самый странный, самый безумный период в его жизни, когда собственная воля оставалась мертвой, а он только впитывал все новое и интересное, что проходило мимо него, что имело к нему отношение. И оттого, что он только впитывал, с любопытством глядел кругом себя, и оттого, что был слишком молод, – все обидное, несправедливое, неразрешенное, омут необеспеченности и разгром, который он производил в среди людей, прошло мимо него, не затронув души.

– Жизнь легка, – упрямо говорил он себе, не желая признать ни своих, ни чужих страданий; и снова текли дни, недели, похожие, как братья, друг на друга, но жить все-таки становилось не под силу.

– Надо устроиться, – решил он.

И когда он поступил на службу к торговцу старым железом, то здесь, на большом дворе, среди нищих хозяев, перекупщиков, маклеров, среди измученных приказчиков, погибавших в безумном труде, в самом сердце оскорбительной жизни бесправия, бессмысленности, непонимания первых потребностей человека, – он почувствовал кнут над собой. Как будто до сих пор он дышал свободно, а теперь ему набросили на шею петлю. Наступали дни, что с утра до поздней ночи нужно было переносить огромные тяжести, исходить версты по малейшему недоразумению хозяина с покупателем, недоедать и недосыпать, и быть в вечном напряжении. Но не труд его испугал. Дикий и необузданный, он с неимоверными усилиями подчинял свое свободолобие этой странной хозяйской машине, дававшей хлеб, но словно нарочно устроенной, чтобы мучить людей. Теперь он уже мечтал перед сном о завтрашнем дне, и потому что этот день обещал ему сытость и нельзя было отказаться от нее – он думал о нем с ненавистью, а себя презирал.

С каждым разом все больше выяснялась и простота и сложность его обязанностей, вся суета, столь желанная и радостная для хозяина и мучительная для него. Сначала, инстинктивно ища облегчения, он внезапно покорился. Он набросился на работу, мечтая насытить жадность хозяина, утомить заведенную машину, натворивши сразу много и лишнее. В него как бы вселился бес. С напряженными жилами на лбу, ни на кого не глядя, он без отдыха носился по двору, возбуждая своим рвением ненависть товарищей, служивших в соседних складах. Он долго не понимал их, – но все же эти новые люди и новые отношения, что-то бессильное и жалкое в их борьбе с жизнью и в результатах – овладевали его вниманием и сердцем. Не в голом и диком страдании был весь ужас, но то, что совершалось здесь, на его глазах ежечасно, ежедневно, как опасность, заставило его насторожиться, приготовиться... Чужие жизни, страшные, замученные открывались ему, и, подобно лесу лезвий, среди которых нужно было пробираться, они били, наносили раны, останавливали, – и каждый раз нужно было отдавать кусок горячего сердца, чтобы не закричать от жалости.

Шла борьба за хлеб. Изо дня в день, словно в вечной, темной пустыне, не видя ни начала, ни конца, с одним неизменным криком: «хлеба, и ничего больше» – шли люди, употребляя гигантские усилия для своего спасения. Они истязали себя, как добровольные мученики, отдавая без дум за кусок хлеба все – здоровье, силу, способности.

Подобно саранче, двигающейся прямо и упорно к полю, которое должно их прокормить, они верили в хорошее, шли к нему и легко и бесславно погибали, не подозревая своей участи ни одну минуту. Они верили...

Это будущее чудилось им во всем.

Усталые, со странными лицами, евреи оборванные, евреи бедные, с горящими глазами и тысячами планов в голове, слепые ко всему большому миру, которого они не знали и не хотели знать, своими жгучими, страстными разговорами и спорами они, как под солнцем, шли в этой темной пустыне, где было так мало приготовлено для них. Здоровые и слабые нищие хозяева, нищие перекупщики, нищие маклеры, – все делали одно и то же: изобретали, работали, суетились.

Ничтожнейший товар, который каким-то непостижимым чудом оказывался нужным, превращался в хлеб, и кусок старого железа, от которого кормились тысячи семей, вдохновлял мысль, вызывал свои надежды... На грязный алтарь бросались человеческие жертвы...

Летом, в раскаленную жару, когда пар подымался от обожженной спины, зимою, в снег, когда даже движение по улицам прекращалось, и осенью, в сырость и дождь, – важная работа шла на огромном дворе. Стучали молотками, сбивались отрезки, перевязывались железные

тюки, с кряхтением и оханьем переносились тяжести, раскалывались чугунные громадины, – и железо лязгало с утра до ночи, как злой сторожевой пес. Не было предела своему истязанию. Лопалась кожа на руках, на плечах, темнело в глазах, терялось дыхание, – все шло в железный тюк вместе с алканием лучшего будущего. Погруженные по сердце в труд, измученные, в длиннополых сюртуках, как армия бессмысленных рабов, служившая неведомому хозяину, – никто не бросал на миг дела. Что им был весь прекрасный мир? Что им была жизнь? Шла борьба за хлеб.

Вечно в заботах, в темноте, они уже растеряли то малое, что было им известно, и презирали, смеялись над всем, гордо уверенные, что правда на их стороне. Когда наступали минуты отдыха, они шли в трактир и торопливо, не умывшись, закусывали и продолжали те же разговоры о продаже, покупке, о ценах, стоявших на товары. Они пили водку маленькими рюмочками, причмокивая и подмигивая друг другу, и тогда их нельзя было слушать. В моменты, когда эти одичалые люди не были призваны к страданию, они разговаривали странным языком, выработавшимся в их занятии, шутили гнусными, неожиданными шутками, задирали друг друга, мучили. Целомудренные, как девушки, в жизни, здесь, после выпитой маленькой рюмочки, они любили говорить о женщинах, о девушках, девочках, и циничное воображение, возбужденное воздержанием, смешивало такие необузданные представления разврата, что становилось страшно с ними. И только истинно великими, истинно людьми они являлись в те минуты, когда жизнь вырывала из их сердца стон. Тогда они потрясали, тогда их облагороженный страданием язык выбрасывал такие чудеса из души, что снова и снова хотелось святой правды, святого света, снова и снова хотелось бурного дождя, который бы смыл и очистил землю от невинной крови и мучений.

Нахман еще не понимал ясно, что случилось, что происходит с ним, но одна искра обжигала его неустанно, шли дни за днями, и гнев его незаметно выдыхался. И то, что он начинал свыкаться с неизбежностью безумного труда, который раздавил и рассек его, что со всех сторон чужая жизнь билась в его душу и вырывала у нее участие, он сам пришел к норме, как приводится к правильному бегу молодая лошадь, если перегрузить ее тяжестью.

Постепенно у него появились товарищи. На работе, рядом с ним, и в свободные минуты дня, по вечерам, или в редкие праздники – все они, как ни отличались друг от друга, все они носили одну мысль. Это была мысль о хлебе и как его достать. Это была мысль о том, как сделать, чтобы он приходил без мучительных усилий, чтобы его было с излишком. У них были семьи на руках, растерянные и ни к чему не способные люди, и сестры, матери, старики, в других слоях сами добывавшие себе пропитание, здесь своими тяжелыми телами падали на спины юношей и требовали от них заботы и труда. Но к этой главной мысли о хлебе, все-таки каким-то необъяснимым образом были прикреплены и другие, – может быть, оттого, что труд еще не успел задушить их. Они шли под жестоким ярмом, но все же было что-то нравственное в их разговорах, что-то упорно хорошее, чистое; и бессознательно – но несли их гимн добру. Слушая их трепетные речи о жизни, о Боге, о совести, слушая этот молодой задорный звон, их страстную убежденность в своей правде, до страдания мучила мысль, что скоро и они превратятся в тупых, равнодушных, одичалых людей.

Какие великолепные люди пропадали, какие сердца, какие фанатики героизма!

Товарищ Натан стал особенно близок Нахману. Он был скромный, нежный, любил книги, и нельзя было понять, как он выносил свое суровое существование. Его сила была в какой-то милой теплоте, в неотразимо убедительных жестах. И своими порывами к чистой жизни, которая мечталась ему в виде красивого города на равнине, правильно разделенного на кварталы, где в правильных, белых домах, очень низеньких и просторных жили семьи, справедливые и гуманные, все связанные одною общою радостью братства, – он скоро покорила Нахмана.

Когда наступал вечер и склады закрывались, когда над огромным, молчаливым двором появлялась луна, все небо заливалось беловатой синевою, и от него как бы нисходила тишина



ночи, – оба усаживались рядом, словно влюбленные, в предчувствии радости духовного общения. Они закуривали и мечтательно глядели на синий дым, как он медленно тянулся к луне, и взоры их долго утопали в тихом и мягком небе. Тишина покоряла. Мерные удары шагов на улице отзывались как будто из другого мира, и, подобно спящему, которому мучительно не хочется прервать сладкой дремоты, так и им тяжело и больно было подумать о том, что есть жизнь действительная, каторжная.

– В этом большом городе, – говорил Натан, по привычке поднимая обе руки, как в мольбе, и указывая на толщу домов, важной громадою стоявших на горе, – есть столько богатств, что мне становится стыдно за людей, которые ничего не придумали против страданий.

Луна передвигалась куда-то вправо, Большая Медведица выходила вся из-за высокой трубы мельницы и теперь мигала всеми своими звездами, а Натан уже другим тоном, другими словами, то взволнованными, то меланхоличными, рассказывал о чистом городе на большой равнине, среди солнца, простора, цветов, где люди живут в радостном родстве.

Часто они говорили о женщинах, и снова хорошее, нравственное рождала душа Натана. Женщина! Какое другое славное, плававшее и гревшее, как солнце, слово могло выразить то очарование, какое он переживал, когда благоговейно произносил: женщина. Вся любовь и нравственные усилия, которыми он был переполнен, звали его к падшим. Он их не знал, никогда не бывал у них, и одна только невыносимая мысль, что в мире есть падшие, вызывала в нем такое сострадание, словно погибали его сестры.

– Я полюблю только проститутку, – говорил он Нахману, и тот с волнением его слушал, – она будет моею сестрою, моею молодою матерью, Нахман, моей святой, пострадавшей.

И Нахман, подчиняясь чарам его волнения, чарам его голоса, повторял, словно клялся:

– Я женюсь на проститутке, Натан.

Натан был первым, который тронул мысль Нахмана, который открыл, как нехорошо устроена жизнь, и сколь чудесной она могла бы стать, если бы кто-нибудь сумел убедить могущественных людей взяться за это. И Нахман все чаще задумывался о своем положении, томился на службе, и его уже ничто не убеждало, что завтрашний день будет сытым. Кругом он видел одно и то же, в разных подобиях, и этому не виделось конца. Молодежь изнывала, не зная, куда деваться от ударов. Они спорили и говорили со слов стариков о каких-то лучших годах, когда в городе было еще мало народа, и эта молодежь, выросшая в тесноте, разрешала свои муки и в ссорах, и в жалобах, и в действиях. Одни мечтали об эмиграции за океан, другие грозили выйти из еврейства, которое мешало им свободно передвигаться в стране, третьи увлекались сионизмом, незаметно отдавались идее и бредили еврейским царством, часть становилась радикально и заполняла собою кадры нового воинства, – но за всем этим слышались сдавленные, мучительные крики: «хлеба, свободы!»...

Нахман терялся в этом хаосе. И когда вскоре Натана забрали в солдаты, чистый свет, светивший ему, потух. Наступала темная полоса собственного приспособления и осиливания вопросов. Действительная жизнь все тяжелее накладывала свою руку на него, и мечты погасли.

Каждый день приносил что-нибудь новое, нелепое. Чем больше он знакомился со средой, в которой жил, тем глубже язвы неустройства проникали в его сознание, тем страстнее хотелось уйти отсюда. Теперь он уже ясно видел все пружины борьбы за хлеб, и становилось невыносимым оставаться в этой исстрадавшейся среде, где ежедневно для ушей, желавших слушать, неслись вопли раздавленных существований. Ему вспоминалась прежняя жизнь, когда он был свободным поденщиком, и теперь она казалась ему временем гигантов.

Все люди были сильными, здоровыми, насмешливыми – как будто не существовало страданий, и они не знали мучений. Тягота царила, но никто не думал о завтрашнем дне, в котором солнце должно было быть большим, горячим, а работа широким размахом души, бродивших сил, радостью тела. Может быть оттого, что тогда он был ребенком, – но он никогда не видел таких захудалых, узкогрудых, сморщенных людей, не слышал этого говора с припевом, в кото-

ром лежали притаившиеся стоны. Не было и вопросов жгучих, назойливых, – и казалось, там, сзади, в этом детстве лежало царство свободы.

– Я убегу отсюда, – пробегало у него в голове, и он пугался.

Но картины продолжали преследовать. Чудно и упоительно было работать с партией поденщиков. Прижавшись головою к мешку с пшеницей, лежавшему на его голом затылке, сам теплый, веселый, чуть не подпрыгивая, он легко выбегал из амбаров, перекликался со здоровыми людьми, – и, казалось, тогда весь мир, лежавший кругом и далеко, был темным пятном. Как сладок был черный хлеб после труда! Расстегнутая косоворотка открывала крепкую молодую грудь, легко дышавшую. Сильные челюсти, с зубами, подобными жерновам и топорам, чудно работали. И хороши были ночи в небольшой комнате, где вповалку спали десятки людей, с теплыми телами, которые грели, как ласка... Вспоминал ли он то время, когда был на побегушках, или когда терся подле взрослых, вспоминал ли он время, когда ездил извозчиком, и в тяжелом армяке, с твердой, как железо, шапкой на голове, носился целые ночи до долгожданного утра, – все теперь казалось в песнях. Пахнул армяк, широкий и свободный, тяжелая шапка мнилась из золота, а холодные ночи, и мокрые, и звездные, с чуткою улицей, пугливо вздрагивавшей от каждого шороха, были как бы не от мира, и верилось – не могли уже повториться. Время, время, где оно?

– Город огромный, – все чаще думалось ему, – я убегу отсюда.

И чем больше он думал об этом, тем невыносимее было видеть всех несчастных, которые собрались в этом большом дворе, своего нищего хозяина, который каждый раз бегал в какой-нибудь угол, чтобы вправить выпавшую грыжу, и, возвращаясь, говорил ему:

– Я не знаю, Нахман, зачем я еще живу. Уверю тебя, Нахман...

В последние дни это было окончательно решено им, и все приготовления к бегству из этой улицы были сделаны...

– Если бы ты, Нахман, хотел пожалеть меня, – робко говорил хозяин.

– Я ухожу, хозяин, – спокойно возразил Нахман.

В темноте раздались его уверенные шаги. Хозяин долго глядел ему вслед.

## 2

Город спал.

С правой стороны, у самого начала его окраины, где начинались еврейские кварталы с их убогими, и как будто нарочито старыми, неустроенными домами, уже пронесся долгий, хлопотливый шум.

Огромная площадь, разместившая в своих углах до тридцати тысяч душ нищеты, тревожно волновалась. Наступало снова утро труда, службы большому городу, который и во сне оставался повелителем.

Город спал. Каждый в кварталах окраины уже был на посту, но было что-то роковое, неуничтожимое проклятие в том, что собственная работа служила всем – только не себе. С восходом солнца, угрюмые, сонные, усталые, с призраком в душе о спасении, – они принимались за труд, но каждая мысль, каждое движение вместе с глотком грязного воздуха, которым дышали здесь, все-таки шли на устройство огромного, чужого города, на создание его довольства, культурности, благоустройства. Подобно чудовищному насосу, хитроумно устроенному, город высасывал из окраин все, что можно взять у человека: силу и мощь, трепетание мысли, размах души взволнованной, печаль уставшей души, и претворял все это в пышное расцветание, в красоту, лежавшую в его улицах, в его садах, в его театрах и зданиях, во всем, чем он жил, о чем мечтал. Сильный и страшный, гордый в своем презрении к этим покорным – он, подобно бесстыдному шулеру, всяческими способами, угрозой, проповедью, ханжеством или криком, выколачивал из окраин нужное для себя.

Непобедимый – он поддерживал всеми своими орудиями шулерской изобретательности положение, по которому десятки тысяч рабов работали на него, думая, что делают собственную судьбу. И эти десятки тысяч рабов из окраин, и те тысячи, которым он позволял ютиться в своих владениях, все наперебой вырывая друг у друга право быть сегодня счастливым рабом, с радостью отдавали ему все: бессильных стариков и старух, юношей здоровых, цветущих и девушек для разврата, для услуг.

Величавый, своими уютными, красиво построенными монументальными зданиями и домами, своими музеями и храмами искусств, своими церквями, синагогами, мечетями, костелами, своими правильными улицами, великолепными лавками, изящными базарами для довольных и сытых – он мирно спал, и задумчивые глаза его окон без тревоги глядели на окраины, где над домами уже клубился дым от печей, а на улицах, кривых, гнусных, позорных памятниках человеческого неравенства, шла борьба за него и для него.

Еврейская окраина стояла вправо, и три рынка, подобно житницам, соединяли с ней город. Первым в стороне начинался клинообразный, старинный Толкучий Рынок – наследие некогда взрощенной, нищенской культуры. Здесь приютились ничтожные строения, лавочки, цирюльни для простонародья, бараки со старой мебелью, будочки с поношенным платьем; здесь с утра до ночи стояли, толкаясь, солдаты, босяки, старьевщики, бабы, приезжие мужики в свитках, и среди них шныряли воры, взрослые и подростки; здесь продавались всевозможные предметы, бывшие в употреблении, и любовь и ласки грязными, пьяными, больными существами, – весь день носился гул голосов торговцев, покупателей, обманутых простаков и избитых, – и этот всеобщий базар красноречивыми, пылающими словами кричал о бессилии человечества. Все обиженное судьбою, все некультурное и преступное сходилось здесь. Один час в этом вертепе бедности, бесправия, среди несчастных, животноподобных людей, – и словно скалы обрушивались на веру в человека.

Грабеж среди белого дня, обман, варварское издевательство, трусость и гнусная смелость, бездонное мучительство за каждый грош, – что могло возродить эти невинный жертвы, какой святой огонь мог их привлечь?

Слева вырастали крыши Старого Рынка с городскими часами посередине. Разделенный улицей на две половины и окруженный низенькими домами, где жил небогатый люд, – он соединялся, словно мостом, одним оживленным кварталом с третьей житницей – Еврейским Базаром. Здесь приютился музей нищеты. Широкий и разбросанный базар этот, подобно гигантскому удаву, мощным полукольцом прижался к еврейской окраине и вместе с ней, погруженный в грязь и бедноту, жил жизнью труда и унижения. Какие странные, выбывшие из строя люди собирались здесь. Больные старухи и неспособные старики сидели длинными рядами подле своих корзин, и среди этой печальной толпы, словно на утеху в горе бродили нищие, калеки, втискивая в общий шум свои заунывные жалобы. В глубине обширных дворов, под навесами и без них, стояли торговцы в мясных, бакалейных и овощных лавках. В рыбном ряду, у повозок и корзин, подле живой и битой птицы, сидели торговки, иные с грудными детьми на руках, и зычным голосом выкрикивали свой товар. Еще дальше, вон из дворов, начинались ветхие дома окраины, приютившие в своих норах базарный люд, фабричных рабочих и работниц, ремесленников и живущих с воздуха. А среди них, как очаг заразы, то там, то здесь, яркими цветами своих фонарей, кричали дома терпимости, где измученный народ искал забвения от жизни.

Утро вырастало. В том оживленном квартале, который соединял Старый Рынок с Еврейским, день уже давно начался, и улица была запружена крестьянами из ближайших деревень, колонистами-немцами и их подводами. Стоял базарный день. Большие лавки ломались от покупателей, которые входили, выходили, возвращались снова и странными приемами, точно были лошадиными барышниками, совершали покупки. В воздухе пахло сырой соломой и помехом. Вдоль узких тротуаров от начала до конца улицы, разложив свои товары на земле, стояли мелкие торговцы-евреи и дикими голосами, требующими и молящими, останавливали крестьян. Из Старого Рынка каждый раз набегали волны смешанных звуков, кричали гуси, в клетках пели петухи, привязанные у телег, мычали коровы, долго и протяжно, и будто звали вон отсюда, в поле, на траву.

Слева звенел еврейский базар голосами своих торговок, и на этой огромной площади жизнь била ключом.

Прислонившись вплотную к стене дома, старик Шлойма заканчивал спешную работу, которую должен был сдать к девяти часам. Он был высокий, с широкой и длинной серой бородой, с крупным носом, крупными чертами лица, сидел без шапки, без сюртука, и от взмахов руки, сквозь расстегнутую рубашку открывалась его худая грудь, густо заросшая волосами. Теперь, повернув сапог голенищем к земле, он аккуратно забивал деревянные гвоздики в подошву и каждый раз вскидывал поверх очков глаза на солнце.

– Доброе утро, Шлойма, – раздался подле него женский голос.

Он поднял глаза, сейчас же опустил их и пробормотал:

– Это вы, Сима, – доброе утро!

Женщина прошла дальше, но сейчас же вспомнила о чем-то и вернулась назад. Она была худая, с большим, больным животом, вечно лечилась, а по субботам, боясь пропустить врача для бедных, дежурила в лечебнице с раннего утра до двух часов дня, когда он приезжал. Сгибаясь под тяжестью двух корзин, которые несла на согнутых локтях, выпятив живот и задыхаясь, она рассказывала Шлойме длинную историю о своем бедном мальчике. Шум кругом звенел, как колокол, над ушами, и, стараясь расслышать собственные слова, она громко кричала, будто Шлойма был глух.

– Это вам нравится, – несколько раз начинала она и обрывалась. – Разве нет суда? В городе должен быть старший, город не может быть без старшего...

– Говорите ясно, – перебил ее Шлойма своим суровым голосом. – Вы потеряете день...

– Ну вот, и нашла вас, – произнесла вдруг какая-то женщина, остановившись подле Симы, и продолжала, будто Сима была свободна и слушала ее: – Куда вы девались? Вы разговаривали с Шлоймой. Оставьте этого еврея. Здравствуйте, Шлойма. Что ваша дочка?

Веселая, бойкая, с живыми смеющимися глазами, она как будто дышала в этой суете особенным воздухом и опьянялась им. Толпы людей, стоявшие, ходившие, сидевшие, возбуждали ее, и ей жадно хотелось успеть бросить всем встречным слово, всем рассказать, что ей приятно, весело, что она сама веселая, приятная, и что быть здесь под огромным солнцем, с людьми – чудная радость. Она говорила, тараторила, пожирала глазами всю улицу, всю суету, схватывала на лету чужие разговоры, бросала слова, мечтая только о том, чтобы затронуть побольше людей.

– Идем, идем, – повторяла она, бесцеремонно таща Симу за руку. – Смотрите, как сегодня весело здесь. Я сказала бы – свадьба. А что там? Ссорятся – нет, кажется, дерутся. Мой Господь, чего же вы стоите, – деревянная вы. – Она побежала к своим корзинам, крича: – Смотрите же, не потеряйте меня! – А Сима, с трудом поднимая плечи и качая головой, сказала:

– Эта еврейка, Шлойма, просто казак, а не женщина. Спросите ее – чего она радуется. От камня скорее добьетесь ответа. Веселая женщина. Вот на днях ее старший сын попался в краже...

– Время не стоит, – повторил Шлойма, не глядя на нее.

– Я потеряла свою жизнь, Шлойма, – что мне день. Пятнадцать лет я борюсь с корзинами, которые хотят притянуть меня к земле, – что значит для меня лишний день. Вам слушать, – горе у меня. Имейте хоть терпение. У меня четыре дочери и один сын-дурачок. Кто наш бог? Эти две корзины. Не они меня – я их ношу. Я должна кормить моих детей, Шлойма, хотя и больших, но детей, все-таки детей. Теперь столяр выгнал моего сыночка. Конечно, мой Мехеле не хватает звезд с неба, но сделанный стол или шкаф ведь тоже не звезда. И пропал у сыночка год службы...

– Ступайте к столяру и вырвите у него глаза, – произнес Шлойма, оглядывая ее.

– Теперь в доме драки, – продолжала Сима с ужасом в голосе. – Сыночку негде спать, девушки его бьют, и он плачет... Скажите вы, с братом стыдно спать? Так я сплю с ним. Ну, а старшая моя, кажется, забеременела от шапочника.

У нее вдруг набежали слезы и потекли по морщинам. Прохожие толкали ее, но она не падала и передвигалась с корзинами, будто те были костылями и поддерживали...

– Смотрите, сколько здесь людей, – дрожа губами, выговорила она, – и никто не может мне помочь. Вот они бегают, покупают, суетятся, – я тут между ними, а им до меня дела нет.

– Идите уже, идите, добрая женщина, – произнес Шлойма, еще раз оглядывая ее, – Разве вы одна такая в городе? Даже смешно было бы, если бы вы не имели большого живота, или если бы ваши девушки пошли к венцу. Ну и пусть их венчает черная ночь. Идите, добрая дурочка, и не мучьте меня своими рассказами. День и великий, и маленький. Крикните Богу; может быть, Он послушается. Скажите Ему: Господи, сними с человека наказание нищеты.

Он застучал молотом, а Сима, постояв, не скажет ли Шлойма еще чего-нибудь, поплелась, медленно переступая.

День совсем наступил.

Люди, потные и озабоченные, шли нестройно, поддаваясь натиску сзади. Торговцы мелким товаром уже охрипли от криков. Торговки, устроившись на самодельных сидениях, собирались завтракать.

Шум переходил от больших лавок к рынкам. Пробежали конки, переполненные чиновниками, гимназистами, конторщиками; на дрожках разъезжали люди, которым здесь завидовали.

Усталость овладевала всеми – покупателями и торговцами. Из дворов уже неслись песни нищих, оплакивавших еврейскую жизнь трогательными, дрожащими голосами, – и они, как плач беззащитного ребенка, вызвали печаль в душе.

– Скажи Ему, – думал с сарказмом Шлойма, – сними с человека проклятие нищеты. Кто-то тронул его за плечо.

– Ну вот, – пробормотал он, недовольный...

– Очень хорошо, – произнес глухим голосом худенький человек с плоскими плечами, протягивая Шлойме один палец, и тот его тронул своим, – вас я ищу. Вот видите этого человека, ради него вы мне нужны. Доброе утро, Шлойма. Стучите молотком? Стучите, стучите, – здесь ведь ужасно тихо.

Он засмеялся и раскашлялся скверным кашлем чахоточного, а кто-то подле него произнес крепким голосом, потирая руки:

– Веселенький день, честное слово. Хотел бы иметь половину того, что здесь раскрадут сегодня.

– Куда ты, Хаим? – произнес Шлойма когда чахоточный успокоился. – Кто это с тобою?

– Дайте передохнуть, Шлойма. Вы рассмотрели этого человека? Его зовут Нахманом. На днях он бросил службу, и, если бы вы знали почему, то даже ваш молоток покраснел бы. Теперь он решил сделаться торговцем в ряду и ищет компаньона. Может быть, вы знаете кого-нибудь?

Нахман стоял, потупившись, словно только что почувствовал стыд за себя. Шлойма внимательно посмотрел на него и пробормотал:

– У этого парня славное лицо.

– Я жду, Шлойма, – с нетерпением произнес чахоточный.

– Найдется человек. Зайди с ним ко мне вечером, и тогда поговорим. Что у тебя слышно? Куда ты сам бежишь?

– Бегу, – повторил чахоточный, – я бы летел, не будь пяти. Не слышали моего счастья? Нет? Не может быть. Ведь мой лейпцигский билет выиграл двадцать четыре рубля! Что скажете, Шлойма? Одна пятерка помешала. Будь вместо нее шестерка, и вот в этом кармане теперь лежало бы десять тысяч марок. Положим, я таки не спал от досады всю ночь, но ведь уже началось. Уже началось, я вам говорю.

– Ну, а что слышно на фабрике? – спросил Шлойма.

– Фабрика все стоит. Что ей?

– А ребята?

– Ребята? Вы спрашиваете, как ребенок? Ребята голодают, дети голодают, женщины голодают...

– Ты сам не был замешан?..

– Я не такой дурак, – сухо выговорил он. – Я верю в лейпцигский билет. Я чахоточный, и жена моя стала чахоточной от этого проклятого табака, и теперь нам все равно, – слышите, все равно. Даже если бы город провалился. И я ни во что не мешаюсь. Они здоровые, молодые, смелые, а я боюсь. Я даже кровью начинаю плевать от страха. Я хочу работать, как вы – жить. Но ребята меня не пускают, – я не иду. И ничего больше.

– Но ребята ведь правы?

– Конечно, слабый всегда прав. Я с женой вырабатываю копеек семьдесят или восемьдесят в день, но у нас нет детей, и мы хорошо приучили себя голодать. Дошло до того, что предложили тридцать копеек с тысячи папирос. Однако ничего не поможет, – мы сдадимся!

Он выкрикнул последние слова, и торговка, сидевшая недалеко, вдруг, словно в нее выстрелили, поднялась с места и подошла к нему.

– Вы говорите о папиросниках, об этих шарлатанах, разбойниках, – сразу волнуясь, начала она. – Мой сын ведь тоже с ними, будь он проклят! Мать не смеет говорить. Вы думаете, я не пошла бы донести, если бы не боялась его. Хорошо или плохо платят на фабрике, – но платят. Разве мне хорошо? Я зарабатываю сорок копеек за целый день на улице, – кто слышит от меня жалобу? Поднять голос на этих людей. На этих высоких людей. С кем эти шарлатаны хотят бороться?

– Вы тоже вмешались, – перебил ее с досадою Хаим.

– Пусти меня, – оборвала она его и обратилась к Шлойме. – Вы старый человек, – может быть, я сумасшедшая... Почему, в самом деле, не перерезать нас всех. Простак и бунтует. Нам ведь и не за спасибо, даже не знаю, за что, позволяють жить здесь, кормиться здесь, – можно ли нам бунтовать, смеем ли мы сказать громкое слово?

– Конечно, конечно, – поддержала ее с места соседка, толстая старуха: – мы должны жить и держать шапку в руках...

– Мы здесь у себя, – упрямо выговорил Нахман.

– Кто ты такой, – рассердилась женщина. – Мы? Кто мы, простак? Где у себя? Ты думаешь, что с дурую имеешь дело, если я торгую на базаре. Мы у себя, – повторила она. – У разбойников мы, – это даже грудной ребенок скажет. Ну, так нужно сидеть тихо, говорить тихо, думать тихо, чтобы никто нас не заметил. Понизили цены, – просите, шарлатаны! На коленях стойте и не вставайте, пока не выпросите. Семьи мучаются с большими и малыми детьми, и железное сердце разорвалось бы смотреть на них. Пройдитесь по домам, – услышите плач.

Вокруг нее стали собираться женщины, и лишь теперь, при свете солнца, одетые, как нищенки, они открылись во всей ужасающей отверженности. Будто потревоженные слепые, стояли они. Чем дальше говорила первая торговка, тем теснее прижимались они друг к другу, испуганные правдой ее слов, и качали головами и двигали руками, будто женщина говорила то самое, что каждая думала про себя, и что непременно нужно было сказать. Погрязшие в своих привычках, дикие, почти безумные, оторванные от мира и чуждые новой жизни, косные, – они готовы были закричать от страха, проклясть этих молодых, непокорных ни им, ни кому из людей. У каждой из них была своя вражда к молодежи, и теперь они предавали собственных сыновей, со всей страстью хранителей старого предания, уверенные, что поступают свято, что борются за лучшее. На их глазах менялась жизнь, ломала и коверкала вековые устои, но они, как мраморные памятники, оставались нетленными, и время было бессильно над ними. И, глядя на их серьезные враждебные лица, на ужас в глазах, страшно было подумать о насилиях, которые создали таких несокрушимых людей.

– Я говорю, – давно уже шамкал старичок, торговавший свечами вразнос, обращаясь то к Шлойме, то к женщинам, и его поддерживал керосинщик, – нужно набрать воды в рот и молчать. Когда мы сподобимся увидеть землю Израиля, то там разверзнутся наши уста, и мы вспомним обо всем.

Разговоры сразу утихли. Что-то огромное, более светлое, чем день, на миг ослепило всех. Улица кипела, – выкрикивали, торговали, клялись, и только здесь, в этой кучке, происходило великопечальное и трогательное, вызывавшее на глазах слезы печали.

Слово не произносилось. Одно священное имя земли Израиля покрыло все слова и зазвучало дорогим, радостным лозунгом.

Скрылся базар с его суетой, где люди из поколения в поколение жили в ожидании грядущего исхода и, только как что-то временное, неизбежное, творили жизнь, – и в блестящем ясно-видении мелькнула благословенная страна, текущая млеком и медом, со своими чудными библейскими образами, опоэтизированными страстной тоскою по родине, которой они не знали, как сироты своей матери. И только Шлойма не поддавался общему настроению и каждый раз как бы порывался говорить.

– Израиль, – задумчиво выговорил Нахман, и Хаим повторил.

– Я оглядываю жизнь, – произнес вдруг Шлойма, бросая молоток к ногам, – и спрашиваю: где воля, где мощь, где сила человека? Не говорите мне «они», не говорите мне «мы». Это старые сказки для женщин и детей. Они – мы, мы – они, и это то же самое, что вода в реке или вода под землею.

Послышались вздохи. Кто-то робко запротестовал. Первая торговка всплеснула руками, бросила взгляд на небо и пошла на свое место.

– Вы скрежете зубами, – с иронией продолжал Шлойма, оглядывая толпу, – а я их изломал уже от гнева. Вы, старые, больные, израненные, колодцы забот и страданий, – к вам будет мое слово. Вот рождается человек. Ему нужно все, ему нужен весь мир. Так хотите и вы, – но не можете. У стола с тонкими блюдами, у дверей хорошего дома стоите вы и голодные, бесприютные – плачете. И вот, спрашиваю: где воля, где сила, где мощь ваша?

Он сбросил сапог с колен, с волнением поднялся и, будто трубил в рог, чтобы созвать воинов, с воодушевлением сказал:

– Оденьтесь в железные одежды, – сомкнитесь в густые ряды, – пусть забьют барабаны, – нищеты не должно быть! Нищеты не должно быть; вот ваша вера, вот ваша правота. Как диких псов на цепях, держат вас и издеваются. Нищета имя цепям. Перегрызите их. Ваши зубы остры, и вы не знаете этого, – а я говорю вам: нищеты не должно быть. Каждый из вас одинок, и по-своему думает он. Один говорит: грехи народа своего искупаем мы. Другой говорит: как овцы, покорны должны мы быть. Иной говорит: в Сионе мы будем. Но никто не говорит, – соединимся мы и скажем: нищеты не должно быть. Все знают, что в худшем рабстве живем мы, и никто не сказал: сбросим рабство. На большой, смирной лошади сидит мальчик, правит ею и бьет и гонит ее. И лошадь слушается. Все смеются и говорят: глупая лошадь. Пусть лошадь скажет не хочу я, – и раздавит мальчика.

– Это сумасшедший, – с ненавистью в голосе крикнул кто-то из толпы.

– Прежде такого бы забили камнями, а теперь он отравляет мир своим ядовитым словом. Уйду, чтобы мои уши не слышали. А еще старый, почтенный человек. Вот почему не любят, вот почему нас бьют.

И, криво как-то толкаясь и пошатываясь, человек этот вышел из толпы, остановился на миг перед Шлоймой, злобно посмотрел на него, плюнул, и так же криво пошатываясь, двинулся по улице. И долго видно было, как он качал головой и размахивал руками. Недовольная толпа неохотно расходилась и ворчала. Возле Шлоймы осталась только маленькая девочка, державшая в руках две картонки с дамскими шляпами...

Нахман и Хаим уже шли своей дорогою, и первый взволнованно говорил:

– Я дышал здесь сильнее, Хаим, но после Шлоймы у меня как будто выросли крылья. Как хорошо здесь!.. Уверяю вас, мне хотелось бы теперь бегать, кричать, прыгать. Не понимаю, что со мною.

Его охватило такое волнение, что слезы выступили на глазах. На улице опять кипело, и, словно огненные брызги, вырывались отдельные голоса из могучего хора толпы. Чудесной музыкою неслись соблазнительные речи торговцев мелким товаром, и в эту минуту ему показалось, что нет и не может быть высшего наслаждения, как любоваться своим товаром, ловко раскладывать его перед покупателем, так же ловко складывать и отдавать его за деньги чужим людям,

И чего здесь не было! Как на ярмарке, прямо на земли валялись материи, ситцы таких веселых и свежих рисунков, занавеси, ленты и платки, куклы, игрушки, всевозможные дешевые товары, – все пестрое, цветное, красивое, и, как будто ничего не стоившее, задирало прохожих, вызывало жадные взгляды, останавливало. И крепко хотелось Нахману самому очутиться среди этой толпы торговцев, вольных и свободных, и отдать их хору свой молодой голос. Хотелось разговаривать с этими женщинами, девушками, которые в страсти, оглядываясь, волнуясь и тайно восхищаясь, брали в руки материи, со вздохом бросали и вновь брали, побежденные дешевизною. Хотелось разговаривать, целовать этих милых детей, таких же бедных, как и их матери, сестры, и отдать им все игрушки, все пустячные вещицы, без которых так тяжело было уйти отсюда.

– Не понимаю, Хаим, что со мною, – повторял он, а Хаим, тонко улыбаясь, отвечал:

– Подождите, Нахман, – крыльев здесь не любят, как у домашней птицы. Их обрезают...



А улица все кричала и говорила...

Покупатели торопливо и нетерпеливо, все развязнее, будто угрожая, покупали. И торговцы, испуганные угрозой, боясь не продать, тоже громко и развязно, но немедленно уступая, кричали, спорили, бегали за покупателем, сердились и проклинали вслух себя, свое занятие и, мучаясь и волнуясь, творили что-то донельзя гадкое, обидное – свою жизнь.

## 3

В первое воскресенье Нахман, выждав вечера, отправился к Шлойме. Когда он вошел в улицы окраины, миновав Толкучий Рынок, то сразу как бы попал в другой мир. Там, сзади, откуда он пришел, ночная жизнь города только начиналась, и люди в блеске жемчужного света от электрических солнц и ауэровских горелок, казалось, выступали, как радостные видения, как триумфаторы. С победительным звоном летели конки, и лошади отчетливо выбивали подковами по мостовым, закованным в гранит, – мчались кареты на шинах, и чудные женщины шли навстречу, и все улыбались. Высокие ряды домов, изящных, хрупких, державно протянулись своими освещенными окнами, в которых мелькали державные люди, свободные, счастливые. Все казалось великолепным, живописным, и гуляющие почтительно расступались друг перед другом, точно отдавали честь себе – виновникам этого великолепия, этой феерии.

В окраине стояла глухая темнота, и сами голоса людей на неровных грязных тротуарах и немощенных улицах казались также глухими и прибитыми. То там, то здесь, как потерявшиеся во мраке, кучками и в одиночку, с криками и непонятным весельем, играли дети. Женщины чинно вели беседу у ворот, а возле каждой девушки шел юноша.

Окраина казалась бесконечной. Из улицы в переулочек, из переулка в улицу, подобно волшебной игрушке, она как будто кончалась вдруг, но через минуту опять открывалась, и нельзя было понять, где ее границы.

Дома становились ниже, будто, чем дальше от города, тем больше врастали в землю, исчезали редкие фонари, и новые звуки лошадей, коров, уже шли из дворов. На улице стояла вонь от неубранных отбросов, от воды, гнившей в вечных лужах.

Странное чувство охватило Нахмана, когда он вошел во двор, где жил Шлойма. Одноэтажный с длинными флигелями, он раскинулся на четыре улицы, разместив в своих убогих квартирках сотни людей.

Двор был широкий, необъятный, и в нем, в темноте похожие на огромные камни, стояли повозки, биндюги, врезавшись колесами в липкую грязь, которая здесь никогда не высыхала. Из конюшен неслись фыркание лошадей, мычание коров.

– Где здесь Шлойма живет? – обратился Нахман к мальчику, шедшему ему навстречу с ведром.

– Шлойма? – переспросил тот и остановился. – Какой? Тут их много. Есть «наш Шлойма», есть Шлойма-буц, Шлойма-халат, Шлойма-картежник...

– Мне нужен Шлойма-сапожник, – с улыбкой перебил его Нахман.

– А, «наш Шлойма». Я сейчас догадался. Идите прямо. У дверей увидите кадку с водою.

Нахман пошел вдоль левого флигеля, и теперь у каждой квартиры его спрашивали: Вы к нашему Шлойме? – Прямо, прямо. Там кадка у дверей. Но его, кажется, дома нет.

Когда Нахман добрался до кадки, он уже был весь в грязи. Из второй комнатки шел свет в раскрытую дверь. Нахман тихо вошел. В низенькой комнатке, с одним оконцем на улицу, сидели три женщины.

Две громко разговаривали, а третья слушала, мечтательно опершись головою о стену. При виде мужчины молчавшая вдруг вскрикнула и закрыла лицо руками.

– Кто там? – с беспокойством спросила вторая женщина, поднимаясь.

– Отчего вы испугались? – удивился Нахман.

– Вы к нашему Шлойме, – догадалась она. – Садитесь, он сейчас должен прийти.

Она подошла к той, которая сидела, закрыв руками лицо, и стала с ней шептаться, каждый раз указывая на Нахмана. И когда та улыбнулась, то громко сказала:

– Вы видите, как скоро я ее успокоила. Я умею с нею разговаривать... Вот Неси не умеет.

Нахман посмотрел на девушку, сидевшую в стороне у стены, и вспыхнул. Ей могло быть не более семнадцати лет, но что-то задорное, дерзкое, удивительно приятное светилось в каждом ее взгляде, в каждом жесте.

– Я не хочу уметь, – упрямо произнесла она, – пусть это делают другие.

– Почему же она испугалась? – недоумевал Нахман, оглядываясь на поразившую его девушку и сердясь на себя.

Неси, почувствовав, что нравится, нарочно отвернулась, а вторая, черноглазая, подхватила:

– Лея боится новых людей, – она испуганная.

– Вот как, – произнес Нахман, небрежно оборачиваясь к Неси, – кто же ее испугал?

– Ну, вот и этот спрашивает, – с досадою выговорила Неси и надулась.

– Отчего же не спросить, – перебила ее черноглазая. – Я бы тоже спросила. Видите ли, Лея вышла замуж по любви, а через год ее муж умер на улице от черной болезни. И тогда это у нее началось. Как наш Шлойма перенес ее горе, – спросите у соседей. Он как будто еще вырос в наших глазах.

– Это его дочь? – заинтересовался Нахман.

– Разве вы не догадались? После смерти мужа у Леи осталась девочка...

– Хотела бы быть ею, – меланхолично произнесла Лея, вмешавшись.

– Слышите, – она хотела бы быть всеми – только не собой... Когда ее девочка, добренькая, тихонькая, подросла, Лея стала уходить работать на фабрику. И Шлойма уходил, а девочку оставляли у соседки.

Она помолчала.

– Девочку убил пятилетний мальчик соседки.

– Какие ужасы, – пробормотал Нахман побледнев. Настроение его изменилось.

– Эге, – выговорила она, не то со смехом не то с плачем, – не пугайтесь так. Тут бывают и похуже несчастья. Вот в прошлом году свинья загрызла девятимесячного ребенка, спавшего в комнате в корыте... Где была мать? Она работала.

Она еще раз не то всхлипнула, не то засмеялась и вдруг деловито спросила:

– У вас дело к Шлойме?

– Хотела бы быть делом, – заупрямилась Лея.

– Да, дело, – разочарованно ответил Нахман.

– Чем вы занимаетесь? Работаете на фабрике.

– Нет, нет. Я служил у хозяина, собрал немного денег, а теперь ищу компаньона торговать в рядах.

– Ага, – сочувственно загорелась черноглазая, – и у вас уже началось. Все хотят свободы в жизни. На что уже тут худо нам, но и мы мечтаем.

– Мечтаете, – так же сочувственно произнес Нахман, стараясь не глядеть на Неси, которая повернулась к нему лицом.

– Теперь я вижу, что вы не здешний. Мы играем – вот наша надежда. Если не билет – кто же за нас? Пройдитесь по окраине, и в каждой квартире вы найдете билет лейпцигской лотереи. Мы разоряемся, – но у нас есть надежда.

Нахман жадно слушал ее, затаив дыхание. В соседней комнате слышались грузные шаги. Черноглазая насторожилась.

– Это мой муж, – проговорила она вдруг упавшим голосом. – Он кажется, пьян. Опять, значит, не заработал.

Она выбежала стрелой, не простившись, и сейчас же послышалась грубая ругань и ее молящий шепот.

– Вот жизнь, – уныло произнес Нахман.

– Терпеть не могу этих людей! – отозвалась Неси. – Все хороши. Пьяницы, грубые, жадные... Иногда сижу и думаю: как же я такой стану? Буду мечтать о гроше, муж у меня больной, замученный, может быть, пьяница, вот с такой бородой, и от него будет пахнуть, как от помойной ямы.

– Вы правы, – проговорил Нахман, радуясь ее голосу и дерзким словам.

– Этого не будет... – упрямо отчеканила она вдруг. – Я поклялась.

В комнату вошла новая девушка, некрасивая, в веснушках, с испуганными глазами.

Вся она была желтенькая какая-то, – носила желтое платье, желтую ленточку в волосах, желтые башмаки, и от нее веяло скукой, недоумением человека, который не понимает, как случилось, что и он существует. При виде постороннего, она, как вкопанная, остановилась на пороге и поманила Неси пальцем.

– Вот ты все сидишь, – шептала она, – а Абрам на улице ждет тебя и чуть не плачет. Зачем мучить человека?

Она произнесла это с жаром и прибавила с мольбой:

– Выйди, выйди, прошу тебя!

– Зачем я пойду? – громко говорила Неси, и Нахману казалось, что она к нему обращается. – Я не люблю маляров. Пойди сама с ним, – ведь он тебе нравится.

Она внимательно оглядела ее и жестким голосом проговорила:

– Может быть, он в тебя влюбится.

– Вот ты смеешься, – побледнев, ответила некрасивая, – я же скажу: если бы он мог. Я бы, Неси, ради него дом понесла на плечах. Я умираю от любви к нему, и хотя он видит, но не может... Вот и ленточки стала для него носить, вот башмаки, в зеркало гляжусь, – а он не может. Я не злая, Неси, выйди к нему.

– Не пойду, – рассердилась Неси, – ненавижу бедных. Я бы, кажется, зарезалась, если бы влюбилась в рабочего.

– Отчего ты с ним ходила? – с упреком произнесла некрасивая, увлекая Неси в первую комнату.

– Я не виновата, что нравлюсь, – послышался голос Неси.

Они начали шептаться и сейчас же вышли. Нахман, оставшись один, с жутким чувством посмотрел на Лею. Она сидела как раз против него, видимо, любовалась им и улыбалась. И, будто в зеркале, он видел, как она повторяла все его движения. Время томительно подвигалось.

– Меня ли она видит? – спрашивал себя Нахман, со странным чувством, почти побежденный ею.

Ее взгляд скользил, как луч, нежно, мягко, касался его лба, лица, и когда останавливался у глаз, то вонзался в них.

– Уже поздно, – тихо проговорил Нахман, с усилием повернув голову к окну, – какая темная ночь.

– Хотела бы быть ночью, – таинственно произнесла Лея.

– Какая странная жизнь здесь, – растерянно подумал он.

Новая сила шла на него отовсюду – от низенькой комнаты, от двора, по которому он проходил, от всех улиц, сдавивших этот двор. Там, где он служил, он видел несчастных людей, замученных трудом, заботами, но все же было что-то привязывавшее к жизни, гнавшее жить. Здесь – он точно в трясиину попал. Живая жизнь казалась мутным потоком, и люди, как отбросы, валялись на поверхности, летели куда-то в безумном стремлении, и никто не знал куда.

– Вы любите детей? – раздался вдруг голос Леи.

Она уже глядела куда-то в сторону, глядела упрямо, точно там, в стороне, стояло и манило – то, одной ей известное, дорогое.

– Я люблю, – ответил Нахман, не узнавая своего голоса.

– У меня была чудесная девочка, золотистая, ласковая и мягкая, как моя грудь. Сияние было на ее лице. Каждый волосок у нее был выткан из золота и пахнул. И когда я приходила с работы, она узнавала меня, тянулась ручками и смеялась. И нищета взяла у меня мою золотистую девочку, – нахмурилась она. – Они говорят все: ее ребенок убил. Но я знаю, что это неправда. Нищета оделась ребенком и убила мою золотистую девочку. Она прокралась к самому слабому месту моему, – слабее, чем мое сердце... Она дала мне немного надыхаться ею – а потом убила мою золотистую девочку. Она держала меня в голоде и нарочно сделала бессильной, чтобы убить мою золотистую девочку. Как орел загоняет голубку от гнезда, она угнала меня далеко на работу, чтобы убить мою золотистую девочку.

Она говорила и тихим причитанием, печальным, певучим, заканчивала каждую фразу. Нахман слушал, и сердце его дрожало от жалости.

Каким ничтожным казалось ему отчаяние, которое он испытывал в последние месяцы, после отъезда Натана...

Сидела полубезумная женщина и пела великую песнь о грозной силе нищеты в народе... Как горы, ложилась эта песнь на душу.

– Ну, вот и я, – произнесла Неси, вдруг появившись на пороге, и будто сноп света шел вместе с нею.

– Слава Богу, – с радостным облегчением подумал Нахман.

– Я не виновата, что нравлюсь, – продолжала она невинным голосом, – и ни для кого не оболью своего липа кислотой. Здесь, Шлойма, человек ждет вас, – сказала она в темноту, где кто-то возился.

– Сейчас зайду, – раздался его голос, – только ящик поставлю.

Нахман не отрывался от взволнованного лица девушки. Теперь что-то дикое, сильное было в ее движениях, когда она иногда оборачивалась к Нахману и бросала на него быстрые взгляды.

– Я сейчас пойду домой, – громко говорила она, как бы рассказывая Лее, – и подожду, пока все уснут. Потом выйду за ворота и буду смотреть в улицу, которая ведет в город...

– Хотела бы быть им, – прошептала Лея...

– В город, – продолжала Неси, и это походило теперь на сказку, – где так светло ночью, что кажется, он горит. И никто меня не увидит. Я буду смотреть на огни и мечтать о жизни...

– Ну, вот и я, – произнес Шлойма, входя и обращаясь к Нахману. – Кажется, я тебя где-то видел.

– Да, в рядах, я был там с Хаимом.

– Так, ты был с Хаимом, теперь я вспомнил. Человечек нашелся, правда, не очень богатый, – но это то, что тебе нужно. Садись, мы еще поговорим.

Он подошел к Лее, погладил ее по голове и нежно сказал:

– Ты бы легла. Уже поздно.

– Я лягу, отец, – покорно ответила она. – Но я никому не мешаю.

– Пусть она посидит, – вмешалась Неси, – она и так лежит весь день.

Шлойма вышел в первую комнату, захватив с собой лампочку, и через минуту вернулся с закрытой чашкой, поверх которой лежал хлеб.

– Я поужинаю, – произнес он, – а вы разговаривайте. Я ведь с утра еще не ел.

Наступила тишина. Старик не спеша ел. Лея, не раздеваясь, начала укладываться, и Неси помогала ей.

– Ну, я пойду уже, – со вздохом произнесла она, когда Лея закрыла глаза, – хочешь, не хочешь, а домой вернуться нужно. Достанется мне от отца. Спокойной ночи!

Она на миг остановилась против Нахмана, пронзительно взглянула на него, перешла комнату и исчезла в темноте.

– Славная девушка, – задумчиво проговорил Нахман.

– Дорогая, – отозвался Шлойма, отодвигая чашку от себя, – но тем хуже для нее.

– Почему же? – удивился Нахман и покраснел.

– Дорогие – легче пропадают. Вот Неси уже на пути... Сама она еще здесь, она ходит между нами, разговаривает, но душой уже там, где ее гибель. Как дерево, брошенное в воду, идет на поверхность, так и она уходит от нас. Это – рок.

– Может быть, она еще раздумает, – с сомнением произнес Нахман.

– Жизнь сильнее дум, – холодно возразил Шлойма. – Ты видел, сколько домов в нашей улице?

– Каких домов? – удивился Нахман.

– Таких – с красными фонарями, с освещенными окнами, с музыкой. Они за нее думают. Знаешь, сколько наших девушек в домах? Половина. Где город набирает девушек для улиц? У нас, только у нас. Ты со мною не спорь. Я прожил шестьдесят лет и знаю, что такое нищета.

Он задумался и так сидел долго. Лея спала. Нахман испуганно смотрел на старика, и какая-то внутренняя торопливость, от которой захватывало дыхание, трясла его. Минутами ему хотелось встать и крикнуть:

– Чего вы меня держите? Поговорите со мной о моем деле и отпустите меня.

– Оставим их, – произнес Шлойма, выходя из задумчивости. – Поговорим о тебе. Ты бросил службу...

– Сказать вам, – заволновался Нахман, точно ждал только первого слова, – я почти жалею, что пришел сюда. Я столько наслышался в эти два часа... Вот вы сказали: нищеты не должно быть. Теперь спрашиваю, как сделать? Я был простым чернорабочим, – правда, я учился в детстве, – но все же был чернорабочим. Жизнь так велела. Потом сделалось так, что я пошел служить, – но и там не выдержал. Я говорил себе: нужно служить, жизнь везде одна и та же, не помогало. Все-таки меня окружали люди, которые мучились. Я говорил себе: думай о службе, о службе, но вместо этого думал о людях, и они меня пугали, как если бы лежали зарезанными в моей комнате. И я ушел...

Он говорил с жаром, потрясенный тяготой, которую нашел здесь. Вся жизнь за эти три года службы вставала теперь словно живая. Как лишний груз, тянувший к земле его надежды, он выбрасывал из себя картины прозябания на большом дворе, с бессильными и искалеченными людьми – работниками, и украшал эти образы своими мечтами о свободной жизни. Он рисовал ее прекрасной, светлой, с здоровыми юношами, с здоровыми стариками, работавшими в меру. И сладок и вкусен был каждый кусок хлеба. Он видел ее свободной, без гнета и помывания, и она вытекала от жажды сил, вырвавшихся на волю, – а дальше все выходило светлым, прекрасным... Шлойма слушал, и в глазах его горел огонь. Точно толпа стояла перед ним и ждала его слова. Менялся ритм его дыхания. Радостные предчувствия овладевали им, охватывали и заливали его сознание. Образы ясные, образы выпуклые, осязаемые и ощутимые уже стояли в душе, готовые вырваться.

– Выйдем отсюда, Нахман, – взволнованно произнес он, – здесь правда слепнет. Ты увидишь.

Он взял его за руку, и оба вышли. Старик шел быстро и лихорадочно.

– Ты увидишь, – бормотал он, – ты увидишь. Вот царство нищеты.

Во дворе было тихо. Угрюмые и одноэтажные флигеля, придавившие подвальные помещения, протянулись по всем сторонам. Подобные исполинским червям, черные и отвратительные, они заползали в соседние дома, напруживаясь буграми и извиваясь, и соединялись с такими же флигелями, змееобразными, отвратительными. В квартирах-лачугах тушились огни, и большой, пустынный двор постепенно пропадал в темноте. В конюшнях фыркали лошади. И казалось, теперь страстная тоска бродила по двору, брела из квартиры в квартиру; казалось, что-то живое, дух печали, дух сострадания стоял в каждом уголке и рыдал. Огромное небо, широкое, круглое, чистое, поднялось безумно высоко, и оттого, что оно было так далеко,

что было такое необъятное широкое, чистое, – здесь, внизу, среди опустошенной жизни, тоска становилась еще страстней, будто погибали все надежды.

– Здесь царство нищеты, – раздался голос Шлоймы, – смотри!

Он описал широким жестом круг в воздухе и пошел вдоль левого флигеля, останавливаясь у каждой лачуги.

– Вот квартира первая, – тихо сказал он, – квартира Бейлы. Торговка. Две дочери работают на фабрике. По вечерам выходят на улицу. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира вторая. Три старухи-калеки. Живут подаванием. Голодают. Пойдем дальше. Вот квартира третья. Квартира Арона Биндюжника. Большая семья. Голодают. Квартира четвертая. Слепой Мотель. Дочь в «доме». Голодают. Квартира пятая. Столяр – большая семья – голодают. Шестая. Маляр – семья голодает. Седьмая. Сапожник – семья голодает. Восьмая. Разносчик. Дочери продаются. Две уже в «домах». Голодает. Квартира девятая. Воры. Квартира десятая. Шулерский притон. Одиннадцатая...

– Довольно, довольно, – пробормотал Нахман.

– ...Пять девушек. Сироты. Продаются. Голодают. Двенадцатая. Модистка Фрима. Чахоточная. Семья. Голодают...

Он выговаривал сухо и отчетливо, и было похоже, будто стучали костями. Слова соединялись, и строилось здание самого большого несчастья, которое могло постигнуть людей. Нищета, голод... Они бродили здесь на каждом шагу, проклятые, ненавидимые человеком, но сильные; они с жестокостью вечного победителя беспощадно обрушивались на него, захватывая новые и новые поколения, от которых он не мог отказаться. Нахман был подавлен.

Ему хорошо знакомы были нищета и голод, в которых он вырос, но никогда еще столь цельная, ужасом одухотворенная картина общего несчастья не становилась у него перед глазами. И испуганный, измученный, он снова бросил вопль мольбы, страха:

– Довольно, Шлойма, довольно. Я умоляю...

Они стояли у ворот, собираясь перейти к другому флигелю.

– Хорошо, – сказал Шлойма, углубленный в свои мысли, – выйдем отсюда. Но и там не лучше.

Улица терялась вдали. С правой стороны город горел своими жемчужными огнями, а с левой – темная окраина открывалась, точно опрокинутая. Оба пошли вдоль тротуара задумчивые, потрясенные. На углу Шлойма остановился. Послышались звуки фортепьяно, и песни были лихие, будто кричали развязными словами.

– Вот куда идут наши девушки! – произнес Шлойма с горячей ненавистью, поднимая руки и указывая: – Смотри!

Нахман оглянулся. Во все стороны, точно испуганные, побежали низенькие, старые дома, прижавшись друг к другу, как в жесте мольбы. Подобно худым колосьям в неурожай, не отягченным зерном, они поднимались вялые и чахлые и громко кричали о беде. Казалось, несчастье, могучее и мстительное, пробежало в этой стороне и разрушило высокие, просторные дворцы и сильных счастливых людей, которые здесь были.

– И я говорю, – раздался вдруг взволнованный голос Шлоймы, – оденьтесь в железные одежды, сомкнитесь в густые ряды, пусть забьют барабаны – нищеты не должно быть!

Грозовая музыка, топот лошадей, лязг железа зазвучали в его ушах. Толпы людей строились в могучие ряды, – то были люди с окраины. Худые, оборванные, с радостными лицами – он видел их – они шли за своим, они шли... И барабаны били, раздавались голоса, ясные, звучные...

– Пойдем, пойдем, – упорствовал Нахман, – я верю вам.

– В железе – сила, – сказал Шлойма, – но она есть и в соломинке. Силен тот, кто верит в соломинку, ибо он верит в самого себя. Соберите свою веру, обменяйтесь друг с другом, и она соединит вас лучше, чем кровь – братьев. Пойте песню: сила в нас, и вы, что жалуетесь на свою

слабость, на свои болезни, – я утешу вас всех. Споем песнь о единении, – и вы утешитесь. Вы, что с мукой трудитесь, и вы, что голодаете и дрожите, споем песнь о людях, – и вы утешитесь. Вы, что не верите в будущее, и вы, что бежите в тюрьмы, вы, что отдаетесь разврату, слабые и сильные юноши и девушки, стройным голосом споем песнь о единении, – и вы утешитесь. И первым словом этой песни пусть будет: нищеты не должно быть.



## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.